

Личность и ситуация в социально-политическом анализе Маркса¹

Едва ли не главным упреком, который бросают в адрес марксизма современные западные философы, является обвинение в недооценке «экзистенциальной проблематики» (вопросов, касающихся личной ответственности, вины, выбора и подлинности человеческого поведения).

Этот упрек сделан еще в 30-х годах представителем немецкой «философии существования», заявлявшими, что исторический материализм заражен провиденциалистской болезнью гегелевской философии, знает лишь «общий план истории», отрицает самостоятельное значение конкретных ситуаций, апеллирующих к человеческой свободе, а потому делает невозможной какую-либо цельную концепцию совести и морального суда²

После второй мировой войны эти аргументы были повторены рядом персоналистских авторов и вскоре сделались «общим местом» в зарубежной литературе. Я не буду разбирать многочисленные сплошь и рядом откровенно пропагандистские доводы, посредством которых доказываются, будто учение Маркса представляет собой «теоретическое обоснование личной безответственности». Это неблагодарная и скучная работа. Куда важнее и интереснее разобраться в тех серьезных затруднениях, с которыми сталкиваются (и в которых все чаще откровенно признаются) некоторые западные теоретики, пытающиеся обосновать «экзистенциальную недостаточность» марксизма.

Яркий пример этих затруднений — книга Ж.-П. Сартра «Критика диалектического разума», появившаяся в 1960 году. Как и другие представители экзистенциализ-

¹ Вопросы философии. 1968. № 5. С. 15—29.

² См., напр., *Jaspers K. Die geistige Situation der Zeit*. В., 1932.

ма, Сартр считает марксистскую концепцию истории «универсализирующей», то есть такой, которая ставит в центр внимания общую схему мирового процесса и не располагает необходимыми инструментами анализа конкретных временных «тотальностей» (локальных событий и ситуаций), образующих непосредственную реальность личностей и конституируемых их самостоятельными решениями¹

Формулируя свои критические упреки и претензии, Сартр, однако, наталкивается на препятствие, о котором открыто говорит сам. Это работа К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». «Маркс,— признает Сартр,— исследовал февральскую революцию 1848 года и государственный переворот Луи-Наполеона в синтетическом духе: он видел в ней (революции.— Э. С.) тотальности, одновременно разорванные и произведенные посредством их внутренних противоречий»; включение в универсальную историческую перспективу не препятствовало в данном случае «оценке процессов как *единичной тотальности*»²

Сартр не уделяет специального внимания марксову подходу к проблеме личной ответственности, не рассматривает, как в «Восемнадцатом брюмера» используются приемы морального и психологического обличения неподлинности и т. д. И все-таки признание Сартра — это нечто новое, ранее не встречавшееся в экзистенциалистской литературе, и к нему необходимо отнестись с должным вниманием. Ведь, по сути дела, Сартр указывает на то, какие разделы марксистского философского наследия приобретают особое значение в условиях широко развернувшейся в последние годы экзистенциальной критики исторического материализма: задача состоит в том, чтобы выявить философское содержание марксистского ситуационно-политического анализа.

В настоящей статье я обращаюсь именно к той работе Маркса, которая оказалась камнем преткновения для Сартра,— к «Восемнадцатому брюмера Луи Бонапарта». Я постараюсь показать, что целый ряд проблем, которые сегодня без всякого колебания могли бы быть причислены к разряду экзистенциальных, были сформулированы Марксом с удивительной четкостью и бескомпромис-

¹ См.: *Sartre J.-P.* Critique de la raison dialectique. P. 1960. P. 19—23, 36—37, 45, 84, 86.

² Ibid. P. 26—27.

спостью именно потому, что он не был экзистенциалистом ¹

* * *

В начале 1852 года Ф. Энгельс опубликовал в чартистском еженедельнике «Заметки для народа» статью «Действительные причины относительной пассивности французских пролетариев в декабре прошлого года». В ней говорилось: «Со 2 декабря прошлого года весь интерес, который только способна возбудить иностранная или, по крайней мере, европейская политика, привлек к себе удачливый и беззастенчивый игрок — Луи-Наполеон Бонапарт... И действительно, есть что-то поразительное в том, что произошло: сравнительно безвестный авантюрист, вознесенный игрой случая на пост главы исполнительной власти великой республики, захватывает между заходом и восходом солнца важнейшие пункты столицы, выметает парламент точно мусор, за два дня подавляет восстание в столице, в течение двух недель усмиряет волнения в провинции, навязывает себя в результате показных выборов целому народу и немедленно же устанавливает конституцию, вручающую ему всю власть в государстве. Подобного случая и подобного позора не знал еще ни один народ, с тех пор как преторианские легионы гибнущего Рима выставили Империю на торги, продавая ее тому, кто больше заплатит» ²

Энгельс достаточно точно описывает исходную задачу, с которой столкнулся автор «Восемнадцатого брюмера»: задачу объяснения государственного переворота, героем которого оказалась личность, абсолютно не соизмеримая с действительным историческим масштабом этого переворота и его значением для судеб страны.

В конце 1851 — начале 1852 года вся либеральная, буржуазно-республиканская и демократическая пресса билась над задачей сглаживания, устранения этого парадокса. Она пыталась возвысить личность Луи-Наполеона

¹ В советской философской литературе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», а также тесно связанная с этой работой «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год» и написанная Энгельсом статья «Революция и контрреволюция в Германии» достаточно подробно анализировались при рассмотрении исторического развития марксистской теории. При этом главное внимание уделялось учению о типах буржуазных революций, становлению идеи непрерывной революции и идеи гегемонии пролетариата, обоснованию необходимости слома буржуазной государственной машины и т. д. (см.: *Ойзерман Т. И.* Развитие марксистской теории на опыте революций 1848 года. М., 1955). В настоящей статье я не претендую на рассмотрение этого широкого круга вопросов; меня интересует лишь одна тема, акцентированная острой идейной полемикой последних лет: личность в ситуации.

² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 8. С. 234.

до размеров совершенного им узурпаторского деяния, то есть в форме критики и морального обличения создавала культ личности Бонапарта, делала его великим в качестве «военного деспота, предателя... душиателя печати и т. п.»¹ Ярким примером этой уничижительной переоценки явился памфлет В. Гюго «Наполеон маленький». Виктор Гюго,— писал по этому поводу Маркс,— ограничивается едкими и остроумными выпадами против ответственного издателя государственного переворота. Самое событие изображается у него, как гром с ясного неба. Он видит в нем/лишь насильственное деяние одного человека. Он не замечает, что возвеличивает этого человека, вместо того чтобы умалить его, приписывая ему беспрецедентную во всемирной истории мощь личной инициативы² Таков и вообще был бумерангов эффект крикливой хулы и добродетельного негодования, обрушившихся на голову новоявленного кандидата во французские императоры.

Отличительная особенность «Восемнадцатого брюмера» состоит в том, что в этом произведении кричащее несоответствие между индивидуальными возможностями Луи-Наполеона и теми действиями, которые ему удалось совершить в декабре 1851 года, не сглаживается, а подвергается анализу именно в качестве исторического противоречия.

Строго говоря, в работе Маркса президент Второй французской республики, узурпатор и кандидат в императоры вообще не принимается в качестве личности, если иметь в виду не обыденное, а требовательное, философское употребление этого понятия. Поведение Луи Бонапарта описывается и объясняется здесь без всякого обращения к таким специфически личностным характеристикам, как самосознание, совесть и ответственность за определенные убеждения.

Маркс оказался единственным критиком этого исторического персонажа, который не попал в ловушку «возвышающего уничижения». Он избежал ее, потому что обличение Луи-Наполеона в «Восемнадцатом брюмера» имеет не моральный, а объективно-юридический характер: герой 2 декабря фигурирует здесь не в качестве объекта для суда истории, а в качестве объекта для уголовного суда. Это мелкий мошенник на вершине государствен-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 234.

² Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. М., 1983. Т. 1. С. 419.

ной пирамиды, типичный «человек без экзистенции», воплощение той деградации личностного начала, которая обычно наблюдается в среде деклассированных элементов и преступников (отсюда — сквозная тема «знатного люмпена», объединяющая все характеристики Луи Бонапарта в «Восемнадцатом брюмера»). «Бонапарт, становящийся во главе люмпен-пролетариата, находящийся только в нем массовое отражение своих личных интересов, видящий в этом отребье, в этих отбросах, в этой накипи всех классов единственный класс, на который он безусловно может опереться,— таков подлинный Бонапарт...»¹

Субъективность героя декабрьского *coup de tête* не содержала в себе, иными словами, никакой загадки, достойной внимания историка. Но именно поэтому в высшей степени загадочными становились успехи этого героя.

Как могло случиться, что человек с редуцированной личностью оказался победителем в напряженнейшей политической борьбе, которая, казалось бы, должна была требовать максимального развития личных качеств? Почему «самый недалекий человек Франции получил самое разностороннее значение» (формулировка из «*Neue Rheinische Zeitung*»)?

Успех Луи Бонапарта разоблачал всю политическую жизнь Второй республики, а вопрос о его личности стал, как отмечал Энгельс в уже цитированной мною статье, вопросом о национальном позоре.

Сами французы (идеологи, отважившиеся говорить от лица нации) склонны были изображать этот позор как «позор без вины» и чаще всего ссылались на реабилитирующий «фактор внезапности». В ответ на подобные доводы Маркс писал: «Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют. Ведь надо еще объяснить, каким образом три проходимца могут застигнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию»².

Чтобы объяснить такое событие, как переворот 2 декабря, необходимо было проанализировать всю породив-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 168.

² Там же. С. 124.

шую его общественно-историческую ситуацию, причем взять ее не просто как немое сцепление обстоятельств, но как живое, динамическое переплетение поступков, совершенных реальными субъектами исторического действия. Поэтому развернутая и окончательная формулировка проблемы, которую предлагает Маркс, оказывается следующей: «Каким образом *классовая борьба* во Франции создала условия и обстоятельства, давшие возможность дюжинной и смешной личности сыграть роль героя»¹

В противовес субъективистски-морализаторским обличениям Луи-Наполеона и попыткам объяснения бонапартизма непосредственно «социальной статикой» (что сделал, например, Прудон в своей работе «Государственный переворот») Маркс обращается к рассмотрению самой исторической драмы, разыгравшейся во Франции в 1848—1851 годах. Он ставит в центр внимания не просто «естественную связь причин и следствий», а объективно обусловленную последовательность выборов, решений, ошибок, преступлений и безответственных действий, совершенных классами, политическими партиями и отдельными личностями, составлявшими эти партии.

И если сам Луи Бонапарт оказывается, как я уже отметил, объектом юридического обличения, а классы, как разъяснится в дальнейшем, — объектом социологической и социально-психологической оценки, то в качестве объекта морального суда в собственном смысле слова выступают в «Восемнадцатом брюмера» *парламентские партии*, политико-идеологический корпус Второй республики — люди, взявшие на себя ответственную роль «национальных лидеров», но совершенно неспособные к руководству *классовой борьбой*, которая из-за неразвитости социально-экономических отношений в стране приобрела чрезвычайно сложный и даже парадоксальный характер.

* * *

«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» — конкретная картина общественной жизни Франции в 1848—1851 годы: здесь систематически раскрываются все ее стороны, начиная с положения страны на мировом рынке, кончая теми многообразными значениями, которые имел для французского крестьянина налог на вино.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. Т. 1. С. 419.

Но на переднем плане этой картины, несомненно, стоит политическая борьба в Национальном собрании Второй республики, прослеженная от недели к неделе, ото дня ко дню. Трагикомические герои этой борьбы (например, глава республиканской оппозиции Одиллон Барро или лидер мелкобуржуазной демократии Ледрю-Роллен) обрисованы такой аналитической полнотой и такой степенью индивидуализации, которой могли бы позавидовать мастера биографического анализа.

В начале 1852 года, когда было написано «Восемнадцатое брюмера», большинство из фигурирующих в этой работе политических деятелей бесславно сошло со сцены, а некоторые из них (в недавнем прошлом наиболее представительные) оказались жертвами репрессий, учиненных Бонапартом и его приспешниками. Либеральная и буржуазно-демократическая печать изображала их как невинных страдальцев, преследовавшихся за республиканские убеждения, как демократов, трагическим образом лишившихся даже самого элементарного из демократических прав — права на гласное судебное разбирательство.

«Восемнадцатое брюмера» как бы возвращает бывшим парламентариям это неотъемлемое гражданское право. Работа Маркса — это развернутый обвинительный процесс над жертвами бонапартистского произвола, суд, в ходе которого выясняется, что именно узники Мазаса, Лме и Венсена, вчерашние вожди буржуазных и мелкобуржуазных парламентских партий, несут *личную ответственность* за падение республиканского режима, за политическое вознесение Луи-Наполеона и утверждение в стране такого юридического порядка, который сделал возможным их собственный арест и осуждение без суда.

Они виновны прежде всего перед революционным народом, и, чтобы убедиться в этом, достаточно просто перечислить их имена.

В числе жертв бонапартистского произвола оказались генерал Кавеньяк, палач июньского восстания 1848 года, генерал Шангарнье, под руководством которого была разогнана мирная демонстрация 10 июня 1849 года, Адольф Тьер, один из инициаторов введения особого положения в Лионе (впоследствии президент Третьей республики и палач Парижской коммуны), и другие.

Не удивительно, что в момент уничтожения парламента вместе с парламентариями народ безмолвствовал. Когда в декабре 1851 года английский буржуазный журнал «Экономист» обвинил трудящихся Франции в том, что

они остались равнодушными к узурпаторской и антиреспубликанской политике Луи Бонапарта, к репрессиям и арестам, распространившимся на «лучшую часть нации», Ф. Энгельс ответил на это обвинение следующими словами: «...все, что можно было у него (французского рабочего класса.— Э. С.) отнять... было отнято в течение трех с половиной лет парламентского правления буржуазии после великого поражения в июне 1848 года»¹

Собственно говоря, свое действительное отношение к политическим деятелям Второй республики народные массы Франции выразили гораздо раньше, чем эти деятели стали жертвой бонапартистского произвола. Они выразили его во время выборов 10 декабря 1848 года, когда решался вопрос об избрании Луи Бонапарта на пост президента Франции. Анализируя ход этих выборов, К. Маркс писал: «Они встретили большое сочувствие... среди пролетариев и мелких буржуа, приветствовавших его (Бонапарта.— Э. С.) как кару за Кавеньяка»². Народные массы города — прежде всего Парижа и Лиона — рассматривали возвышение Луи Бонапарта как «кассацию июньской победы». В деревне выборы 10 декабря представляли собой «реакцию крестьян, которым пришлось нести издержки февральской революции»³

Словом, если бы в 1851 году французских парламентариев судил не контрреволюционный, бонапартистский, а революционный трибунал, он приговорил бы их, вероятно, к наказанию куда более серьезному, чем то, которое они в действительности понесли.

Но может быть, эти парламентарии, виновные перед народом, были невинны перед законом и могли надеяться получить оправдание просто в качестве граждан?

В действительности ни один, даже самый искусный адвокат не сумел бы защитить их от произвола на основании той конституции, которую они сами учредили и подвергли многократным «улучшениям».

Конституция французской республики появилась в ответ на июньские события 1848 года. На каждой ее статье лежала печать страха перед массовым демократическим движением; каждое общее положение сопровождалось оговоркой, которая, по существу, сводила его на нет. Это была конституция, с самого начала санкционировавшая нарушение конституционных норм в случае,

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 235.

² Там же. С. 136.

³ Там же.

если возникнут «исключительные обстоятельства» и если это будет соответствовать соображениям «национальной безопасности».

«Сама Конституанта (Законодательное собрание.— Л. С.) постановила, что нарушение текста конституции является единственно верным толкованием ее смысла»,— писал по этому поводу Маркс в работе «Классовая борьба во Франции»¹

Развернутая формула высшей по сравнению с демократией общественной целесообразности была найдена тогда же, когда формулировался сам «демократический закон»; она гласила: «Собственность, семья, религия и порядок». В заключении первого раздела «Восемнадцатого брюмера» Маркс показывает, как эта формула позволила устранить одного за другим всех учредителей конституции: «...как только одна из многочисленных партий, сплотившихся под этим знаменем против июньских повстанцев, пытается в своих собственных классовых интересах удержаться на революционной арене, ей наносят поражение под лозунгом: «Собственность, семья, религия, порядок!» ...Всякое требование самой простой буржуазной финансовой реформы, самого шаблонного либерализма, самого формального республиканизма, самого плоского демократизма одновременно наказывается как «покушение на общество» и клеймится как «социализм». Под конец самих верховных жрецов «религии и порядка» пинками стоняют с их пифийских треножников, среди ночи стаскивают с постели, впахивают в арестантскую карету, бросают в тюрьму или отправляют в изгнание...— во имя религии, собственности, семьи и порядка»².

Нелепо искать защиту от беззакония в такой конституции, под прикрытием которой без суда было приговорено к ссылке пятнадцать тысяч июньских инсургентов, Лион и пять соседних департаментов подверглись летом 1849 года грубому деспотизму солдатчины, вводились карательные законы и вездесущий прокурорский надзор, велись непрерывные процессы по делам печати³. Вдвойне нелепо, если к ней апеллируют люди, которые в пору своего полномочия называли конституцию «грязным клочком бумаги» (слова Тьера), кричали: «Законность нас убивает!» (слова Одиллона Барро), клеймили восстание в

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 54.

² Там же. Т. 8. С. 128.

³ См. там же. Т. 7. С. 69—71.

защиту конституции как «анархическое действие», отстаивали принцип подчинения государственного закона решениям большинства и выступали с публичными покаяниями в своих либерально-конституционных заблуждениях, разделившись еще в пору монархии¹

Законодательное собрание само уничтожило те силы, которые республика и демократия могли бы в решающий момент противопоставить опасности авторитарного господства: оно распустило национальную гвардию и уступило президенту все инструменты исполнительной власти. Мало того, именно парламентарии научили Луи-Наполеона всем приемам и методам борьбы против парламентаризма. Будущему узурпатору не требовалось ни изобретательности, ни конструктивного воображения: он просто мог в готовом виде использовать тот богатый опыт предательства интересов республики, который накопили представители последовательно поверженных им «фракций» и «оппозиций».

В «Восемнадцатом брюмера» обнажены вопиющие противоречия, которыми был отмечен каждый политический акт, осуществленный этими людьми,— противоречия, которые в конце концов сделали их внутренне беззащитными перед произволом, лишили возможности юридического и нравственного оправдания. Тем самым Маркс в полной мере раскрывает тему малодушного предательства принципов, разработку которой экзистенциалисты считают своей исключительной заслугой: он выявляет внутреннюю неизбежность бесчестного поражения, которое рано или поздно постигает республиканца, боящегося республики, демократа, боящегося действительно демократического движения, и революционера, боящегося доводить революционную борьбу до конца.

Но Маркс предъявляет политическим деятелям Второй республики еще одно обвинение, которое сразу выводит за пределы экзистенциалистского понимания личной ответственности,— обвинение в том, что они не сумели эффективно выполнить роль руководителей классов, представляемых ими в политике и идеологии,— роль, к которой их безусловно обязывала сложившаяся в стране социально-политическая ситуация. По строгому счету, многие из этих деятелей могли бы квалифицироваться как предатели *действительных интересов* соответствующих общественных групп. И самое удивительное состояло

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 72, 52, 71; Т. 8. С. 153.

и том, что они совершили это предательство в результате того, что их мышление оставалось в рамках непосредственного мышления их классов, что их политическая воля никогда не приходила в противоречие со стихийно сложившимися надеждами и установками этих классов.

Чтобы разобраться в содержании этого парадоксального по своему характеру преступления, необходимо более подробно остановиться на вопросе о том, как Маркс понимал поведение класса и классовое сознание.

* * *

Если привести к единому знаменателю те возражения, которые буржуазная философская и социологическая мысль выдвигают против марксистского понимания классов и классовой борьбы, то мы скорее всего получим обвинение в *бихевиоризме, в вульгарно-детерминистском истолковании субъекта исторического действия*. Маркс критикуется за то, что под именем класса он будто бы вводит в общественный процесс некое надындивидуальное существо, еще не поднявшееся до уровня сознательной человеческой активности. Предполагается, что в качестве целостности класс действует как примитивно устроенный организм: экономическое положение порождает у него «одновалентный» интерес, который движет всеми индивидами, входящими в класс, подобно инстинкту. В итоге марксисты обвиняются в том, что они пытаются объяснить историю действиями таких субъектов, в поведении которых не обнаруживается именно «историчности».

Посмотрим теперь, как действительно выглядят данные проблемы в марксистском социально-политическом анализе, классическим примером которого как раз и является «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».

Бросающаяся в глаза особенность этой работы состоит в том, что действия общественных классов рассматриваются в ней в качестве поведения, имеющего личностную структуру. Здесь меньше всего идет речь о неких «примитивных вождениях» или инстинктах общественных групп. В историческую характеристику класса включаются такие специфически личностные характеристики, как самосознание, иллюзии, установки, эмоции. Действия классов расцениваются не только по их фактическим успехам (критерий, вполне достаточный для бихевиоризма), но также с точки зрения их нравственно-психологической полноценности. Судьбы классов анализируются поэтому

в категориях трагедии и фарса, убежденности и цинизма, чести и бесчестия и т. д.

Маркс рассматривает классы, врасплох застигнутые революционной ситуацией, не имеющие ясного представления о своем историческом призвании, о том, чего следовало бы желать для обеспечения действительного успеха. Все они — за исключением пролетариата в феврале 1848 года — обнаружили стихийное стремление к уклонению от борьбы. Это политическое малодушие постепенно привело к сложным расстройством классово-психологии, к болезненным несообразностям поведения. Не случайно динамические портреты классов в «Восемнадцатом брюмера», по сути дела, оказываются патографиями.

Чтобы доказать это, я попытаюсь в основных чертах воспроизвести марксово изображение эволюции классового сознания французской буржуазии, обращая главное внимание на судьбу той ее фракции, которая имела наибольшие основания быть выразительницей общеклассового интереса, а именно промышленной буржуазии.

Февральская революция 1848 года, выросшая из общенационального негодования по поводу почти безраздельного господства банкократии, предоставила французскому промышленному капиталу широкие возможности как для борьбы за свои особые цели, так и для организации общеклассового господства. Однако в силу индустриальной неразвитости страны французские промышленники не обладали ни ясным сознанием своих действительных задач, ни решительностью, необходимой для отстаивания доминирующего положения в экономике и политике¹. Они испытывали страх перед своими вчерашними патронами — крупными финансистами и не мыслили самостоятельного экономического существования без привычной опеки кредита. Эта *инфантильная робость* выразилась как в поведении либеральной оппозиции накануне революции, так и в действиях возникшего в феврале 1848 года временного правительства, которое поставило молодую республику «в положение запутавшегося должника буржуазного общества, вместо того чтобы явиться к нему в роли грозного кредитора, взыскивающего старые революционные долги»².

С того момента, как это случилось, французская буржуазия попадает в безвыходный порочный круг малоду-

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 17.

² Там же. С. 22.

ния: каждый ее шаг оказывается вынужденным, вытекающим из «требований момента» и в то же время безусловно ошибочным, не соответствующим ее действительным, заданным классово-политическим целям.

Промышленная буржуазия пыталась уклониться от тех обязанностей, которые налагала на нее эпоха, но именно поэтому эпоха стала для нее ловушкой. Она трусливо избегала открытой борьбы с одной из фракций своего класса, но именно поэтому навлекла на себя все опасности открытой классовой борьбы. Едва только кредит был признан необходимым условием существования буржуазного временного правительства, все уступки пролетариату и прежде данные ему обещания сделались «*окнами, которые во что бы то ни стало должны были быть разбиты*»¹

Буржуазия спровоцировала пролетариат на открытое революционное выступление, по сути дела, поставив его в безысходную, предельную ситуацию. «У рабочих,— писал Маркс,— не было выбора: они должны были или умереть голоду или начать борьбу. Они ответили 22 июня грандиозным восстанием — первой великой битвой между обоими классами, на которые распадается современное общество»²

Столкнувшись с этой новой, жестокой реальностью, французский буржуа приходит в состояние *невротической растерянности*. Прежняя мягкотелость и робость превращаются в паническую жестокость. Еще совсем недавно молодая республика усматривала свое призвание в том, чтобы «никого не пугать, а, напротив, самой всего пугаться и мягкой податливостью и непротивлением отстаивать свое существование и обезоруживать врагов»³ После июньских событий буржуазные республиканцы становятся партией карателей: они выражают готовность идти на самые решительные меры ради сохранения status quo и публично раскаиваются в своих прежних скромных притязаниях на его изменение.

После выборов 10 декабря 1848 года, которые в иррациональной форме выявили всеобщую ненависть по отношению к буржуазной республике, этот страх перерастает в *патологическую подозрительность*.

Социалистические требования и притязания грезятся

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 23.

² Там же. С. 29.

³ Там же. С. 19.

буржуазии повсюду, становятся подлинным наваждением, которое окончательно дезориентирует ее, делает ее поведение маниакальным. Буржуа сам не замечает, как доходит до экстремистских нелепостей, как посредством антисоциалистических преувеличений он готовит условия для разрушения и узурпации своего собственного политического господства. «Шло ли дело о праве подавать петиции или о налоге на вино, о свободе печати или о свободе торговли, о клубах или муниципальном устройстве, об обеспечении свободы личности или об определении государственного бюджета,— один и тот же пароль раздавался неизменно, тема всегда оставалась та же самая, приговор был всегда готов и неизменно гласил: «Социализм!»

...Это не было только голой фразой, модой, приемом в партийной борьбе. Буржуазия правильно поняла, что все виды оружия, выкованные ею против феодализма, обращались своим острием против нее самой, что все созданные ею средства просвещения восставали против ее собственной цивилизации, что все сотворенные ею боги отреклись от нее... Не поняла буржуазия одного — что, последовательно рассуждая, ее *собственный парламентарный режим*, ее *политическое господство* вообще должно теперь также подвергнуться всеобщему осуждению как нечто *социалистическое*»¹

Полтора века спустя будет найдено точное название для буржуа, дезориентированных своей собственной манией. Это название «бешеные». В агитационных приемах, применявшихся французской буржуазной «партией порядка» в середине прошлого века, Маркс уже различает тот вид реакции на острые политические ситуации, который находит классическое выражение в нынешнем столетии (достаточно вспомнить немецких национал-социалистов, обвинявших в социализме политических руководителей Веймарской республики, достаточно вспомнить демагогические речи Голдуотера, упрекавшего федеральное правительство за его «коммунистические действия»).

Бонапартистский переворот, совершившийся 2 декабря 1851 года, уже целиком содержался входящем до нелепых крайностей «последующем страхе». Буржуа шаг за шагом отказывались от общеклассовых и даже от специфически фракционных целей, пытались уклониться от риска политической борьбы и исторической ответствен-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 160.

ности. «...Буржуазия признает,— писал Маркс,— что ее собственные интересы предписывают ей спастись от опасности *собственного правления*... что для сохранения в целости ее социальной власти должна быть сломлена ее политическая власть; что отдельные буржуа могут продолжать эксплуатировать другие классы и невозмутимо наслаждаться благами собственности, семьи, религии и порядка лишь при условии, что буржуазия как класс, наряду с другими классами, будет осуждена на одинаковое с ними политическое ничтожество»¹ Всем своим поведением французская буржуазия как бы апеллирует к будущему узурпатору ее республиканского господства. Одновременно она дает понять, что испытывает потребность в «сильной личности», которую можно было бы наделить всеми качествами, недостающими личности французского буржуа (уверенностью, решительностью, примитивной цельностью и т. д.). Буржуазия продемонстрировала готовность к признанию первого же подвернувшегося героя сразу после разгона мирной демонстрации 10 июня 1849 года. Именно тогда родился первый «великий маленький человек» Франции — генерал Шангарнье. Его возведение в ранг «спасителя общества» явилось прологом к утверждению культа Луи Бонапарта и обнаружило несложный психологический механизм, посредством которого этот культ мог стать серьезной реальностью для буржуазного сознания. «За полным отсутствием сколько-нибудь выдающихся личностей,— писал по этому поводу Маркс,— партии порядка пришлось наделить одного человека силой, которой не было у всего ее класса, и таким путем раздуть его в какого-то великана»² Авторитет Шангарнье был «фантастическим порождением буржуазного страха».

Поведение буржуазии с самого начала было аномальным, и люди, на долю которых выпала обязанность представлять ее в качестве идеологов и политиков, должны были понимать это.

Удивительно ли, что Маркс мог поставить в вину парламентским представителям французской буржуазии именно то, что их мышление не противоречило непосредственному сознанию стоящего за ними класса?

Специфическое личностное состояние последнего обязывало его идеологов и политиков по возможности противостоять (или по крайней мере не потакать) ситуацион-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 161.

² Там же. Т. 7. С. 109.

ным классовым предрассудкам, страхам, политическим наваждениям и маниям. Между тем буржуазные парламентарии именно эти предрассудки, страхи, мании и принимали за выражение действительного классового интереса. Даже заклятый враг не мог бы навредить политическому господству буржуазии больше, чем ее собственные парламентские вожди. Их ограниченность, их интеллектуальная несамостоятельность в немалой степени способствовали тому, что классовая судьба буржуазии оказалась похожей на участь Эдипа, который делал все возможное, чтобы избежать предопределения, но именно поэтому обеспечил его полное и к тому же коварное исполнение.

Роковым и катастрофическим образом на французскую буржуазию обрушивается в конце концов все то, что она хотела предотвратить посредством уклонения от принципиального решения своих общеклассовых задач, посредством охранительных, реакционных и антидемократических мероприятий, — этого вечного оружия политического малодушия. «Французская буржуазия, — писал Маркс, — противилась господству трудящегося пролетариата — она доставила власть люмпен-пролетариату с шефом Общества 10 декабря во главе. Буржуазия не давала Франции прийти в себя от страха перед грядущими ужасами красной анархии — Бонапарт дисконтировал ей это грядущее, когда воодушевленная водкой армия порядка, по его приказанию, 4 декабря расстреливала стоявших у своих окон именитых буржуа бульвара Монмартр и Итальянского бульвара. Она обоготворила саблю — сабля господствует над ней. Она уничтожила революционную печать — ее собственная печать уничтожена. Она отдала народные собрания под надзор полиции — ее салоны находятся под полицейским надзором... Она ссылала без суда — ее ссылают без суда»¹

* * *

Специфическая, полная превратностей и курьезов историческая ситуация 1848—1851 годов позволила Марксу выработать общее представление о личной ответственности политического лидера.

В «Восемнадцатом брюмера» это представление не фиксируется специально, но оно содержится здесь в ка-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 203.

честве глубоко осознанной *нормы*, на основании которой Маркс выносит приговор политическим деятелям Второй республики.

Основные требования, объединяемые этой нормой, на мой взгляд, сводятся к следующему.

Первой и важнейшей обязанностью политического лидера является *знание*: умение выработать теоретически ясное представление об историческом призвании класса, отличном от его стихийных (непосредственных) установок и притязаний. Политический лидер обязан отдавать себе отчет в нравственно-психологическом состоянии класса, в его личностном облике. Он должен, наконец, опираясь на свое социологическое знание, с одной стороны, и на знание классовой психологии — с другой, попытаться разъяснить возглавляемой им общественной группе ее реальную историческую судьбу.

Можно сказать, что ни один мыслитель ни в прошлом, ни в настоящем столетии не подходил к личности с такими дифференцированными и строгими критериями, как критерии, на которых основывается нравственный анализ поведения политических деятелей Второй республики в «Восемнадцатом брюмера». Моральному осуждению подвергаются здесь не только лицемерие, трусость, малодушное предательство принципов, но также ограниченность, теоретическая неразвитость и практическое неумение. Более того, именно в этих последних качествах Маркс видит конечную причину нравственной неэффективности французского идеологического сословия. Политическое представительство — это особая роль, которая требует не только субъективной преданности классу, но и особых способностей. Человек, который берет на себя эту роль, заведомо не имея возможности справиться с нею, совершает безнравственный проступок, если не преступление.

В центре концепции личности, содержащейся в «Восемнадцатом брюмера», несомненно, стоит проблема *познавательной ответственности*. Именно она придает марксову постановке вопроса последовательность и остроту, которой мы не встретим даже в самых ригористических современных теориях вины, в том числе и в экзистенциалистской.

Если разобраться, экзистенциализм знает только один вид безнравственности: неподлинное поведение, или поведение, противоречащее внутренним убеждениям и достоверностям. Как этическое учение, он принципиально исключает оценку самих очевидностей, с которыми со-

относится поступок. Действие, соответствующее моей неотъемлемой глупости и даже моей искренне исповедуемой реакционности, с позиций этого учения не может быть осуждено. Не удивительно, что экзистенциализм, беспощадно строгий ко всем проявлениям малодушия и ко всем его рационализациям, оказывается предельно снисходительным по отношению к неведению. От экзистенциального обвинения почти всегда (а особенно в тех сложных случаях, когда речь идет о социальной ответственности) можно отделаться с помощью своего рода «когнитивного алиби»: я, мол, не знал этого; я искренне верил в то, что внушали; я считал достоверным то, что все считали достоверным, и т. д.

Представление о личности, из которого исходил Маркс, исключает подобные оправдания. Оно предполагает, что человек ответствен не только перед своими убеждениями, но и за свои убеждения, за само их содержание. Личность, которая по условиям своей жизни имела возможность для интеллектуального развития (а с представителя идеологического сословия есть все основания спрашивать как с развитой личности), обязана знать то, что возможно знать, что теоретически доступно для ее времени.

После этого вряд ли покажется удивительным, что каждое проявление близорукости и прекрасодушия французских парламентариев обличается Марксом с той неприимимостью, с какой обычно относятся к предательству, коррупции или сознательному обману. Маркс не склонен к тому поспешному и снисходительному различению человека и его общественной роли, которым страдает экзистенциализм. Личность отвечает за успешную реализацию *выбранной ею общественной миссии*, и если роль требует ума и таланта, глупость и посредственность ее исполнителя становятся виной.

Показательно, что Маркс вменяет в вину политическим вождям Второй республики их, казалось бы, естественные и искренне разделяемые иллюзии.

Как это возможно? Имеются ли для этого достаточные основания?

Иллюзии, разделявшиеся буржуазными и мелкобуржуазными идеологами и политиками в 1848 году, являлись пережитками той формы политического сознания, которая была вполне современна для условий Великой французской революции. Представление о том, будто революция вообще, всякая революция может осуществляться

лишь по шаблону революции 1789—1793 годов, лишь под лозунгами «свободы, равенства и братства», лишь порождая такие политические образования, как Конвент и Гора, и таких исторических персонажей, как Дантон и Робеспьер, имело во Франции характер национального предрассудка. Рядового француза, сталкивавшегося только с хрестоматийными изображениями политических событий, едва ли можно было упрекнуть в том, что в феврале 1848 года он склонен был ожидать точного повторения того общественного процесса, который имел место полвека назад. Но эта инерция мышления, историческую обусловленность которой Маркс понял и выразил лучше любого другого мыслителя его времени, была совершенно непростительна для людей, взявших на себя роль руководителей и политических воспитателей общества. Как исполнители этой роли, они обязаны были стоять на уровне интеллектуальных достижений *своей эпохи*, то есть владеть содержанием и методами тех общественных теорий, которые породил XIX век.

Английская политическая экономия, французский социализм, философско-историческая и гносеологическая концепции, разработанные классиками немецкой философии, методы ситуационного анализа, применявшиеся историками французской реставрации, давали возможность выйти далеко за пределы того политического сознания, которым жила Великая французская революция. Как мыслитель, в совершенстве владевший этим новым теоретическим материалом, в качестве человека, никогда не считавшего свои собственные открытия продуктом гениального наития, недоступного для других, или результатом стихийно сделанного классово-мировоззренческого выбора, Маркс имел все основания упрекать идеологическое сословие Второй республики за те иллюзии и предрассудки, которые были естественны для возглавлявшейся им нации.

Маркс менее всего склонен обличать иллюзии вообще, он, как никто, далек от просветительского высокомерия и резонерства. Иллюзии, обусловленные общей неразвитостью сознания определенной эпохи, отсутствием теоретических средств для реалистического формулирования общественных задач, никому не могут быть поставлены в вину.

Ложное сознание, которым воодушевлялись деятели Великой французской революции, не только простительно для них, но и составляет их историческую заслугу. Эти люди

объективно не располагали иными средствами для формулирования действительных общественных задач, для фиксации их особой (неповседневной) значимости, для того, чтобы поднять политическую борьбу на уровень высокой трагедии.

Ложное сознание, в котором с самого начала погрязла революция 1848 года (погрязла вместе со своими политическими вождями), уже не было объективно неизбежным сознанием.

Маркс выражает это различие в характере исторических иллюзий следующей точной, обобщающей формулой: деятелям 1789—1793 годов их ложное сознание «служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой, служило для того, чтобы возвеличить данную задачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительности...»¹

Эпоха, в которую действовали Луи Блан, Коссидьер и Ледрю-Роллен, нуждалась в трезвости, реализме, ясном понимании действительных движущих сил общественного развития. Таков был мыслительный склад, которого требовала новая всемирно-историческая ситуация и который уже обеспечивался соответствующими интеллектуальными достижениями, предоставленными в распоряжение идеологов общественной наукой XIX века. «Социальная революция XIX века,— писал Маркс,— может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание»²

Перед нами не только новое понимание условий и обстоятельств, при которых совершается революционный процесс, но и новая формулировка ответственности политического лидера: эпоха обязывает его к реализму и теоретической дальновидности. Тем самым совершенно меняется и экзистенциальный смысл иллюзии.

Ложное сознание деятелей революции 1789—1793 годов было высоким идеализмом, обеспечивающим личную

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 121.

² Там же. С. 122.

цельность и последовательность, вдохновлявшим на борьбу до конца. Иллюзии политических деятелей Второй республики, сколь бы искренне они ни разделялись, уже не могли служить источником подлинного воодушевления. Это была мирская мечтательность, обрекавшая своих посетителей на непоследовательность и постоянное уклонение от борьбы. Чем выше воспаряли они в своем прекрасномодушии, тем больше их сознание соответствовало приземленному, ограниченному сознанию рядовых членов класса. Маркс раскрыл удивительный параллелизм, существовавший между болезненным развитием стихийных установок французской внепарламентской буржуазии, окончившимся, как мы видели, полной политической немменяемостью этого класса, и не менее болезненной иллюзией республиканской мечтательности его лидеров, увенчавшейся «парламентским кретинизмом»¹

Парламентский лидер жил в воображаемом мире, он презил неопределенными и абстрактными сущностями, вроде «третьего сословия» или «единого народа Франции». Рядовой член класса, напротив, существовал в мире обыденных, эмпирически доступных, чувственно конкретных реальностей. Но содержание их мышления оказывалось одним и тем же, ибо и тот и другой были не в состоянии переступить черту теоретической неразвитости, за которой только и открывался действительный мир истории. Это решающее обстоятельство и было зафиксировано Марксом в его знаменитой характеристике мелкобуржуазных демократов, являющейся в то же время общим приговором, который он выносит идеологическому сословию Второй республики. «...Не следует думать,— писал Маркс,— что все представители демократии — лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию и индивидуальному положению они могут быть далеки от них, как небо от земли. Представителями мелкого буржуа делает их то обстоятельство, что их мысль не в со-

¹ Это было подлинное политическое слабоумие, аутистически самодовольная замкнутость сознания, которую не могло разрушить даже полное поражение. «...Только своеобразной болезнью... *парламентским кретинизмом*,— писал Маркс,— который пораженных им держит в плену воображаемого мира и лишает всякого рассудка, всякой памяти, всякого понимания грубого внешнего мира,— только этим... объясняется, что партия порядка, которая собственными руками уничтожила... все условия могущества парламента, все еще считала свои парламентские победы победами...» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 181).

стоянии переступить тех границ, которых не переступает жизнь мелких буржуа, и потому теоретически они приходят к тем же самым задачам и решениям, к которым мелкого буржуа приводит практически его материальный интерес и его общественное положение. Таково и вообще отношение между *политическими* и *литературными представителями* класса и тем классом, который они представляют»¹

Главная вина парламентских вождей Второй республики состояла именно в том, что, будучи призваны к осознанному теоретическому руководству определенными общественными группами, они в действительности оказались не руководителями, а представителями и только представителями этих групп в политике и литературно-идеологическом движении. По сути дела, они видели свою задачу не в том, чтобы вооружить классы сознанием их действительных — наукой выявляемых — исторических задач, а в том, чтобы саму теорию, культуру, область политических решений подчинить стихийной, классово ограниченной точке зрения. И это, в свою очередь, осуществлялось не на основе ясного понимания наличного сознания класса, его предрассудков, страхов, антипатий и т. д. (парламентские лидеры не имели задатков даже для того, чтобы быть успешными манипуляторами), а просто в силу естественного содержательного совпадения их высокопарных грез с наивными чаяниями стоящей за ними группы.

Не будучи в состоянии ни взять на себя задачу объективного целеуказания, ни понять настроения и ожидания классов, политические деятели Второй республики рано или поздно должны были уступить место откровенному демагогу, фанатику более ограниченной, а потому более доступной идеи. Их высокопарные глупости, которые даже самой неразвитой массе давали повод считать себя более трезвой и дальновидной, чем парламентские вожди нации; их трусливая реакционность, путаница, которую они увеличивали каждой попыткой робкого или откровенно полицейского «упорядочивания ситуации», подготавливали Францию к выбору самого примитивного и пошлого лидера. Только при сопоставлении с «парламентским кретинизмом» низкопробная хитрость Луи-Наполеона могла сойти за ум, только на фоне полного вырождения последних представителей «партии порядка» недостатки этого человека могли превратиться в достоинства.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 148.

В «Восемнадцатом брюмера» эта зависимость прослеживается в деталях.

Для преодоления наивного прекраснодушия французским буржуазным парламентариям не хватало того, что Маркс, говоря о Д. Рикардо, назвал «теоретическим цинизмом». За отсутствие этого качества они расплатились своим поражением перед лицом цинизма пошлого, обыденного, житейского. «В такой момент,— писал Маркс,— когда буржуазия сама играла чистейшую комедию, правда, с самым серьезным видом, не нарушая ни одного из педагогических правил французского драматического этикета, когда она сама была наполовину одурачена, наполовину убеждена в торжественности своего собственного лицедейства,— в такой момент авантюрист, смотревший на комедию просто как на комедию, должен был победить»¹

Политические деятели Второй республики в своих консервативных лозунгах вольно или невольно апеллировали к закоренелым предрассудкам массы, к ее страхам, к ее неразвитости и примитивности. Но разве могли они соперничать с Луи Бонапартом, чутьем умевшим угадывать самые низменные людские инстинкты? «Никогда еще ни один претендент,— замечал по этому поводу Маркс,— не спекулировал так пошло на пошлости толпы»²

Единственным достоинством иллюзорной веры, воодушевлявшей буржуазных парламентариев, была наивная убежденность, с которой она разделялась. Но что была эта убежденность в сравнении с той фанатической верой в свое императорское призвание, которой жил Луи-Наполеон?

Иллюзии буржуазного республиканизма соответствовали политической наивности относительно узкого и относительно развитого слоя французской нации, способного мечтать хотя бы о таких вещах, как «братство» или «равенство сословий». Маниакальное же стремление Луи Бонапарта отвечало самому темному политическому суеверию самой отсталой массы: оно непосредственно совпадало с царистскими предрассудками миллионов. Чтобы воодушевить их своей заветной мечтой, Бонапарту даже не требовалось быть умелым демагогом и ловким мани-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 168; ср.: Ойзерман Т. И. Цит. С. 273.

² Там же. С. 162.

пулятором, хотя и тем и другим искусством он для условий XIX столетия владел достаточно хорошо.

Дело не только в том, что бонапартистский переворот явился логическим завершением целого ряда контрреволюционных актов правящей буржуазии в годы республики, и не только в том, что герой этого переворота мог опереться на богатый, ранее накопленный опыт антидемократизма. Дело еще в том, что редуцированная личность Луи Бонапарта увенчала распад индивидуальности, которым была отмечена вся история парламентских партий Второй республики. В самой смене характеров и персонажей, появлявшихся на вершине государственной власти в 1848—1851 годах, видна принудительная последовательность. Это не фатальность обстоятельств, не цепь естественных зависимостей, исключающих человеческую свободу, это скорее неотвратимость нравственной кары за отказ от действительно свободного выбора, за ошибки, которых могло не быть, за личную непоследовательность и беспринципность. Некомпетентного, запутавшегося, прекраснодушно-лицемерного политика неожиданно настигает расплата: его смещают еще более низко павшие люди. Это издевательство истории повторяется снова и снова, пока в роли победителя не оказывается самый нелепый, самый комичный, самый пошлый из всех претендентов на политическую власть.

На первый взгляд может показаться, что история поставила французских парламентских деятелей перед принципиально неразрешимыми задачами. В действительности же, как показывает Маркс, история просто не нашла во Франции подготовленного слоя политических деятелей, которые смогли бы справиться с назревшими и принципиально разрешимыми задачами. Это (наряду с еще более существенным фактом неразвитости сознания самих классов) явилось совершенно реальным препятствием, на которое натолкнулся исторический процесс.

Мы видели, что в анализе Маркса объективные роли, исполняемые политическими деятелями Второй республики, рассматриваются не в качестве внешних заданий, которые просто «отрабатываются» личностью, а в качестве миссии, которую эти люди сами взяли на себя и за понимание действительного содержания которой они отвечают перед совестью и перед историей.